

Моя жизнь в советском раю

Перед вами — воспоминания баронессы М. Д. Врангель, матери белого генерала П. Н. Врангеля и известного в начале нынешнего века историка искусства Н. Н. Врангеля. Материал взят из «Архива» И. В. Гессена, вышедшего в Берлине в 1922—1937 годах. Только сейчас стало возможным знакомство с этим многотомным изданием, ибо цели, которые преследовал автор, видный адвокат и публицист, один из лидеров кадетов, депутат II Государ-

ственной думы, никак не укладывались в жесткие рамки идеологической цензуры,— дать правдивую картину того великого и трагического перелома, который переживала Россия в дни октябрьского переворота... Что же мы знаем о Врангелях? Фактически почти ничего. Кроме скудных обрывков информации, почерпнутой в основном из школьных учебников. Врангель, врангелевщина, враг... На память сразу же приходят сатирические вирши

Маяковского из Окон РОСТА: «В «Гранд-отеле» семгу жрет Врангель толсторожий». А между тем Врангели происходят из старинного баронского рода, ведущего свое начало от некоего Тука Вранга, начальника ревельского гарнизона в 1219 году. В XVII веке, согласно шведским грамотам, они были возведены в баронское достоинство. А в 1865 году за Врангелями был признан баронский титул и в России. О роде Врангеля с полным



Предгрозовая идиллия. Офицерский пикник в петербургском пригороде. Фото из архива

правом можно сказать: славен род, стольких выдающихся полководцев и талантливых ученых дал он! Был среди них и знаменитый мореплаватель и государственный деятель Фердинанд Петрович Врангель. Неутомимый путешественник, исходивший пешком весь Крайний Север. Автор превосходного, написанного простым и выразительным языком труда о природе, нравах и обычаях народов Сибири. В его честь была названа земля, открытая американским китоловом Лонгом в Северном Ледовитом океане недалеко от места, намеченного Врангелем на карте. Фердинанд Петрович оставил по себе добрую память, будучи главным правителем Северо-Американских колоний (Аляска). Его именем названы залив, пролив и действующий вулкан на Севере Америки. Был в этом роду и блестящей храбрости генерал, участ-

ник боевых действий на Кавказе; и композитор, автор популярных среди салонных эстетов романсов; и талантливый искусствовед, редактор популярного в начале века журнала «Аполлон», автор многочисленных трудов по истории искусства. Происходил из этого рода и Василий Егорович Врангель, преподаватель наследника-цесаревича, профессор Александровского лицея. Едва ли не все ипостаси русского общества, вся история России прошла через этот род.

И особняком в этом ряду выделяется противоречивая и трагическая фигура главнокомандующего белой армией в самый последний, переломный период гражданской войны, генерала барона Петра Николаевича Врангеля. Даже большевики не смогли дать ему точной характеристики: блестящий гвардейский офицер, за плечами которого Гор-

ный институт и Академия Генерального штаба, и «...умный, но необразованный, а зачастую просто невежественный, несмотря на свои два диплома, бесконечно честолюбивый, падкий на внешний блеск и позу» — так сказано о нем в первом издании Большой советской энциклопедии. А с другой стороны — восторженный отзыв Н. М. Котляревского, его личного секретаря: «Я увидел в нем человека совершенно исключительного, который знал, что он хочет и как пойдет по намеченному пути... в нем для меня воплотился тот, кого мы все так нервно и порывисто искали в дни развала, воплотился Вождь в полном значении этого слова».

Воспоминания матери П. Н. Врангеля, передают потомкам правдивую частицу того трагического времени, в котором отразилась судьба ее сына.



Я не внесу в мой рассказ ни политики, ни истории, я лишь хочу искренно и правдиво, шаг за шагом, передать, через что я прошла и что мною, очевидицею, пережито в дни большевиков.

Прожив в Петрограде с 1918 до конца 1920 года, я, несмотря на все ужасы жизни и особо шекотливое личное мое положение, уцелела каким-то чудом. Жила я под своей фамилией, переменить нельзя было, так как очень многие меня знали. Но по трудовой книжке, заменявшей паспорт, я значилась: девица Врангель, конторщица. А служила я в Музее города, в Аничковом дворце, 2 года, состояла одним из хранителей его — место «ответственного работника», как говорят в Совдепии. Ежедневно, как требовалось (так как за пропускные дни не выдавалось хлеба по трудовым карточкам), я расписывалась моим крупным почерком в служебной книге. В дни подхода Юденича к Петрограду Троцкий и Зиновьев устроили в Аничковом дворце военный лагерь, расставив пулеметы со стороны Фонтанки; военные власти шныряли во дворце повсюду, а служебная книга с фамилиями, раскрытая, как всегда, лежала на виду в швейцарской. Был у меня и обыск-налет, а в дни появления на горизонте Главнокомандующего Русской Армии генерала Врангеля (моего старшего сына) все стены домов Петрограда пестрели воззваниями: Смерть псу фон Врангелю, немецкому барону! Смерть лакею и наймиту Антанты Врангелю! Смерть врагу Рабоче-Крестьянской Республики Врангелю!

Позже, в другом месте моего жительства, я была прописана как вдова Веронелли, художница. Письма я писала под третьим именем. И вот, как ни непонятно, я высочила благополучно, тогда как другие несчастные матери, жены, сестры, дочери военных белогвардейцев были заточены в вшивые казематы и томились там по месяцам: старуха М. П. Родзянко, семья Звягинцевых, баронесса Варвара Ивановна Иксуль, Хрулевы, наши племянницы, княгиня Т. Г. Куракина, бар. Е. А. Корф, баронесса Тизенгаузен, графиня Беннигсен, М. Н. Винберг, мать совсем юного конногвардейца Таптыкова, да всех не перечтешь.

Начну рассказ о моих переживаниях по порядку. Должна прежде всего оговориться: все ужасы моей жизни ничего исключительного из себя не представляли, так же жили 3/4 из породы буржуев, разве что были положе и не столь одиноки.

* * *

В начале 1918 года муж, убедившись, что в Петрограде жизнь становится все тяжелее, начал продавать все наше имущество: картины, фарфор, мебель, ковры, серебро. Деньги постепенно помещали, как и прежде, в банк. Грозного еще ничто не предвещало, было только запрещено переводить капиталы за

границу. Затем запретили выдачу по текущим счетам, банки национализировали, из сейфов обобрали золото и бриллианты, и мы, как и все, остались ни с чем. Муж решил переехать в Ревель, куда перевел и спиртоочистительное общество, председателем коего он состоял. Я в Ревель ехать не захотела, дети (сын и невестка) усиленно просили меня приехать к ним в Крым, где в то время, уволенный в отставку, жил сын со своей семьей. Я давно их не видела и ухватилась за это, тем более что в Ревеле в то время были немцы, и во мне кипело патриотическое возмущение против них. Выбирать тогда, куда ехать, я могла. Я решила устроить в Петрограде для нас с мужем маленький pied-à-terre на случай нашего приезда, в Крым же рассчитывала поехать на время — тогда еще делались такие фантастические, как кажется теперь, невероятные планы. Проводив мужа, уверенная, что расстанусь с ним на короткое время, я переехала в уютную солнечную квартирку к моей старой приятельнице. Было просто, но красиво убрано, повсюду развешала портреты сына в военных доспехах и моих милых внучат. Мне даже нравилась эта упрощенность жизни; я поняла, как, вероятно, и многие, сколько, в сущности, лишнего, подчас совсем не нужного отягощало нас. Мы были — рабы своего имущества.

Вскоре я получила от мужа 4 письма из Ревеля; путешествие его было с большими приключениями, мои письма до него не дошли. Решила не терять времени, хлопотать о требовавшихся бесчисленных документах на выезд. Писала и телеграфировала сыну, так как он ранее просил, когда решу выехать, дать ему знать, дабы он мог у Скоропадского устроить мне проезд на Украину, но сколько ни писала — все письма, по-видимому, до него не доходили. Бумаги нужные я, однако, все получила, дело было только за паспортом, его мне выдать отказали. Вскоре закрыли границы, и я осталась в плену. Сразу мне удалось найти очень хорошую женщину — прислужгой. Я решила поступить на какую-нибудь «чистую» службу. Сперва я работала нештатной служащей в музее Александра III, но вскоре устроилась на лучшее место в Музей города, в Аничковом дворце. Учреждение это по духу было особое. Ни начальство, ни служащие политикой не занимались, страстно любили свое дело и работали не за страх, а за совесть. Сперва я состояла эмиссаром с жалованьем 950 руб. в месяц, затем меня превратили в научного сотрудника. Я получала сперва 4 тыс., позже 6 тыс., и, наконец, как хранителю музея, мне было назначено 18 тыс. в месяц, да беда-то в том, что «пайка» пресловутого в нашем учреждении не полагалось. Жизнь безумно дорожала не по дням, а по часам. Вскоре я получила из Финляндии от мужа письмо. Он бежал из Ревеля, как и другие, в ожидании прихода туда большевиков. Писал, что был серьезно

болен, поправляется понемногу, и заканчивал: «Будь наготове, за тобой придет человек, доверься ему». Письмо дошло до меня каким-то таинственным способом, я немедленно распродала все почти оптом, так как второпях, но по сравнительно грошовой цене: даже продала шубу и одежду, так как муж писал, что надо ехать без всякого багажа, но ни о муже, ни о каком человеке я более никогда ни слова ни слыхала. Умер ли он? Жив ли? Не знала, что и думать. Продавая помаленечку вдвоем с прислугой деньги, вырванные за продажу вещей, жутко делалось: а что же дальше? Цены все лезли и лезли — 1 фунт отвратительного казенного хлеба на рынке продавался в то время за 400—500 руб. (теперь, говорят, уже 4000 руб.), говядина 1700 руб., яйцо одно 400 руб., масло 12 тыс., сахар 10 тыс., соль 350 руб., крупа пшено 180 руб., коробка спичек 80 руб., керосин 1 ф. — 800 руб., свечка 500 руб., сапоги 150 тыс. руб., галоши 20 тыс. руб., чулки пара 6 тыс. руб., иголка — и та стоила 100 руб., катушка ниток — 500 руб., мыло для стирки 5 тыс. и т. д. и т. д. Старушка хозяйка моя сбежала в окрестности, рассчитывая, что там подешевле, но вскоре умерла от истощения. Прислуга моя то и дело падала без чувств от утомления, стоя в хвостах, полуголодная, за советским хлебом и селедками. Я видела, что она чахнет, и, как ни грустно было с ней расстаться, нашла ей хлебное место. И вот начались мои мытарства. В 7 часов утра бежала в чайную за кипятком. Напившись ржаного кофе без сахара, конечно, и без молока, с кусочком ужасного черного хлеба, мчалась на службу, в стужу и непогоду, в рваных башмаках, без чулок, ноги обматывала тряпкой: вскоре мне посчастливилось купить у моей сослуживицы «исторические галоши» покойного ее отца, известного архитектора графа Сюзора, благо сапоги у меня тоже были мужские, — я променяла их как-то за клочок серого солдатского сукна в 2¹/₂ аршина. Такими гешефтами все тогда занимались, сперва как-то стыдно было, а потом все так привыкли, будто только всю жизнь это и делали. Питалась я в общественной столовой с рабочими, курьерами, метельщиками, ела темную бурду с нечищенной гнилой картофелью, сухую, как камень, воблу или селедку, иногда табачного вида чечевицу или прежуткую пшеничную бурду, хлеба 1 ф. в день, ужасного, из опилок, высевок, дуранды и только 15 % ржаной муки. Что за сцены потрясающие видела я в этой столовой — до сих пор они стоят у меня перед глазами! Сидя за крашеными черными столами, липкими от грязи, все ели эту тошнотворную отраву, из оловянной чашки, оловянными ложками. С улицы прибегали в лохмотьях синие от холода, еще более голодные женщины и дети. Они облипали наш стол и, глядя помертвевшими, белыми глазами жадно вам в рот, шептали: «Тетенька, тетень-

ка, оставьте ложечку», и только вы отодвигали тарелку, они, как шакалы, набрасывались на нее, вырывая друг у друга, и вылизывали ее дочиستا. В 5 часов я возвращалась домой, убирала комнаты, топила печь, зимой через два дня, варила на дымящей печурке, выедавшей глаза, ежедневно на ужин один и тот же картофель, стоил в то время один фунт — 6 штук — 250 руб., ела с солью, а в дни кутежа с редькой и луком. После «ужина» чинила свое тряпье, по субботам мыла пол, в воскресенье стирала. Это было для меня самое мучительное — полоскать белье примороженными больными руками, адовая мука, а не стирать самой было невозможно. Белье брали только с нашим мылом, стоило оно 5 тысяч фунт, да за стирку рубашки 150 руб., простыни 200 руб., полотенца 50 руб., и т. д. Так как дворников в домах более не существовало (большинство из них переименовалось председателями домовых комитетов), то приходилось и дрова таскать, и помой выносить самой. А когда была объявлена повинность дежурить у ворот, то сколько я ни протестовала, доказывая, что по возрасту я от повинности избавлена, председатель уверял: раз я служу, стало быть, работоспособна и от повинности уклоняться не смею. И вот с 10 до 1 часу ночи я, как и другие жильцы, кто раньше, кто позже, сидела на тумбе у ворот, опрашивая всех входящих и выходящих из дома. Одна из девиц, очень жизнерадостная, на всякое дежурство облачалась для потехи в оставшееся от бывшего великолепия вечернее платье, шикарную, еще сохранившуюся шляпу и в белые перчатки, уверяя, что это единственный случай себя показать, так как, сидя на службе в грязи или дома стирая, такое на себя не наденешь, в театры же и кинематографы ей ходить не по карману. Должна отметить, что, несмотря на все глумления над буржуями и истязания, как ни странно, за все время моего пребывания в Петрограде желания буржуев отомстить угнетателям я не видела, подчас их «повинности» принимались, конечно, теми, кого жизнь еще не повалила, даже с юмором; они же оставались неприязненны и жестоки к нам, хотя «кровушки-то» и у нас ими было попито немало. Так как я боялась ночевать одна в квартире, — кругом меня несколько квартир было очищено, и хотя отбирать у меня уже было нечего, но могли перепугать, — я стоворилась с одним заводским рабочим, бывший шофер Гурко, он взялся ночевать в моей квартире, колоть дрова и выносить помой за 1500 руб. в месяц без кормежки. Председатель домового комитета, надо думать, блюдя порядок, то и дело зааживал к жильцам. **Я**вившись как-то ко мне, увидел портреты сына в военных доспехах, приказал немедленно все их убрать, предупреждая, что если зайдет и увидит и в следующий раз «генералов», без разговоров отправит меня с

портретами в Чека. Я немедленно переслала их на хранение к знакомому присяжному поверенному.

Дни шли, положение мое становилось все более и более критическим, придирки и наблюдения домового комитета, изнурительная физическая работа, недоедание, отсутствие всяких известий о муже и сыне измучили меня, я таяла с каждым днем. Скоро, не имея больше вещей, чтобы продавать и пополнять мой бюджет, я должна была отказаться от услуг и моего рабочего, — платить было нечем. Я опять осталась одна и только ужасно боялась, как бы не слечь и не очутиться в больнице, где больные замерзали, где не было ни медикаментов, ни места, валялись вповалку на полу. Хирурги отказывались делать операции, так как от стужи они не могли держать инструмента в руках. А народ мер и мер, как мухи. 30 тыс. гробов в месяц не хватало, брали напрокат. Мой сослуживец и старинный знакомый барон А. И. Притвиц от истощения ослеп, вскоре умер; он был владелец богатейшего майората в Ямбургском уезде. Похоронили его в общей казенной могиле. Так как гроба жена не могла купить, то на кладбище она повезла его в большой корзине, благо он был очень небольшого роста, обернутого в простыню, поставила на розвальни, сама приткнулась около. Но про себя должна сказать, Бог меня хранил. Я потеряла, правда, два пуда весу, была желта, как воск, от вечно мокрых, никогда не просыхающих ног (галoши мои знаменитые послужили только месяц) мне свело пальцы на ногах, руки от стирки и стужи приморожены, от дыма печурки, недоедания и усиленной непрерывной письменной работы сильно ослабли глаза, но я за два года ни разу больна не была. Постичь не могу, как в 60 лет может так ко всему приспособиться человеческий организм.

Но буду продолжать по порядку. Однажды, когда я исполняла одну из тяжелых очередных моих работ, зашла ко мне моя приятельница, известная общественная деятельница, очень душевный человек, пришла в ужас от условий моей жизни. Предложила переехать к ней; у нее была большая — ее эмигрировавших друзей — квартира и прислуга. Я была безумно счастлива. Наконец не быть одинокой! На новоселье я блаженствовала 10 дней. Пошли аресты, особые гонения на партию кадетов. Моя приятельница состояла председателем Комитета кадетов в одном из районов, ее убедили скрыться, прислуга меня немедленно бросила, поступила в богатый еврейский дом, и опять я осталась одна, в большой квартире — я да еще черный кот, немолчно мяукавший с голоду, да и я сама была не лучше его. Зачастую я вставала ночью проглотить хоть стакан воды или погрызть сырой моркови, чтобы заглушить щемящий голод. Тысяч назначенного мне жалования я не видела три месяца за отсутствием

в государстве денежных знаков. Я уже разгуливала в сапогах с отставшею подошвою, привязанною веревкою, но это ничуть меня не смущало, так как таких франтих, как я, было много. Тоскливо было отсутствие освещения в темные зимние вечера, зачастую электричество частным лицам совсем не давали, обыкновенно оно горело с 10 до 12, когда все мы, полумертвые от усталости, валились спать. Впрочем, были ночи, когда электричество блистало вовсю, — это в те зловещие ночи, когда производились обыски и аресты. Все это знали, все трепетали измученные и издерганные в ожидании приятного визита. Но в дни мрака было тоже жутко. Не имея ни керосина, ни свечей, в моей конуре, выходившей на черный двор, совсем одинокая, с обуревавшими меня печальными думами о близких, оторванных судьбою от меня, я коротала мои вечера, изредка зажигая драгоценные спички, чтобы посмотреть, который час. И вот в одну из освещенных электричеством ночей, в 3 часа раздалось на черной лестнице оглушительные звонки, нетерпеливые удары в дверь и крики. Вскочив с кровати, я догадалась — обыск! Так как у меня в комнате температура была на нуле, я спала одетая, да еще прикрытая разным тряпьем. Около меня всегда лежали мои драгоценности, письма и фотографии сына, перевязанные. В одну минуту я схватила их, бросилась в уборную и с сокрушенным сердцем утопила. Направилась к дверям, а удары становились все свирепее и свирепее, того и гляди двери снесут. Открыла дверь, за ней 5 детей, «краса и гордость революции», двое с ружьями, тут же и председатель домового комитета — «салонный танцор», как он называл себя, а также и управляющий домом, — бывший старший дворник, — все по закону, все честь честью. Потребовали у меня документ, он был у меня тоже наготове, народ мы стали все вышколенный; убедившись, что я нахожусь на советской службе, да еще «ответственная работница», направились в комнаты, шарилы везде, все перевернули, читали письма, рвали, отбирали бумаги. Найдя хороший сафьяновый портфель, хотя и пустой, — забрали. После многое из хороших хозяйских вещей, оказалось, «экспроприировали» (это новомодное у нас слово). Взяли телефонный список с фамилиями, курили, острили и только в 5 утра закончили все операции. С меня сняли опрос: «Где хозяйка, когда вернется?» Сказала, что переехала я всего 10 дней, наняла комнату, хозяйки почти не знаю, а поехала она, как сказала, в Новгородскую губернию за провизией. Управляющий прибавил: «Ей 60 лет, глуха, как стена, и неработоспособна». — «Знаем мы этих глухих да немых, работать, паразиты эдакие, не хотят, а народ мутить их дело. Счастье ее, что нам под руки не попала, а мы приехали ее прокатить в Петропавловку. Да мы не прощаемся, а до свидания», — утешили они меня. Через два

часа после этого приятного ночного отдыха я уже бежала за кипятком в чайную, а оттуда на работу, на службу до пяти вечера.

Для душевного моего успокоения до меня то и дело доходили вести о смерти кого-либо из оставшихся в Петрограде друзей и знакомых. Умерли от истощения и голода моя невестка бар. Ш. Врангель, племянница М. Вогак, родственница еще одна, М. Н. Аничкова, умерла от сыпного тифа А. П. Арапова, дочь Натальи Николаевны Пушкиной, по второму браку Ланской, обратилась в вешалку, обтянутую кожей. Умерла в нищете княгиня Е. А. Голицына, бывшая начальница Ксенинского института. Ради существования, пока не слегла, несмотря на свои 68 лет, во всякую погоду торговала на улице бубликами сестра ее Е. А. Депревицкая, — тоже скоро после нее умерла. Эм. Ал. Эллис, бывшая фрейлина, дочь коменданта Петропавловской крепости былых времен, умерла от изнурения. Расстреляны в то время были наши племянники бар. М. и Г. Врангель, при потрясающей обстановке, А. И. Арапов, — это только мои друзья, — общее же число жертв было бесчисленно. А сколько сидело по тюрьмам. Порою казалось, вернулись времена Иоанна Грозного, людей изводили и в одиночку, и скопом, со всевозможными муками и терзаниями.

Однако я все время отвлекаюсь, но воспоминания так еще болезненно живы и напряжены, так напирают, кажется, что еще недостаточно наглядно обрисовала «коммунистический рай», и все новым и новым примером, новым штрихом хочется дорисовать эту картину.

Но возвращаюсь к моему повествованию. Вскоре хозяйка дома дала мне знать, к большому моему огорчению, что ей вернуться на квартиру не придется. Немедленно меня уплотнили. Со мной теперь жила еврейка, два еврея, счетчица Народного банка — бывшая горничная у одной моей хорошей знакомой; жила еще, хотя ворчливая, но хорошая старушка, бывшая няня, но она вскоре переехала в деревню, а на ее место поселился рядом со мною ужаснейший красноармеец. Горничная в былое время получала от меня на чай, именовала меня «ваше сиятельство», теперь была так важна, что и приступа к ней не было. Однажды, попросив оказать мне незначительную услугу, я положила перед нею 100 рублей, для меня в то время это был целый куш, она швырнула их: «Ну да, буду я с вами валандаться. А дрянь-то эту убедите, что я на нее купить могу, это даже не гривенник». Положим, она была права, да большего-то дать ей у меня самой не имелось. Девиза эта с трудом подписывала свою фамилию, но жалованье получала такое же, как и я, да в придачу громадный паек, и еще подкармливалась из деревни, и находила, что «теперь не жизнь, а малина».

Все они разместились в лучших комнатах,

я же жила в самой маленькой, которую взяла ради экономии моего крошечного запаса дров. Евреи топили у себя дважды в день, так как служили в Лескоме.

Парадные комнаты были очень хорошо меблированы. Мебель была карельской березы и красного дерева, зеркала, картины. И во что обратили все это скоро новые обитатели? Ставили в комнатах самовары, дым столбом стоял, сушили белье мокрое на креслах и т. д. Красноармеец был мой ближайший сосед. По дому он расхаживал в белых подштанниках, в туфлях на босу ногу, с трубкою в зубах, горланил на всю квартиру неприличные песни, бесцеремонно на моих глазах любезничал с горничною, зачастую ночью у себя собирал «общество»; что они там делали, не знаю, а только гогот, гам и песни не давали мне ни разу заснуть до утра. Впрочем, все это было только беспокоило, но не страшно, возраст мой и видимая нищета спасли меня от худшего. Вся эта компания жила припеваючи, ни в чем сравнительно себе не отказывала, меня же третировала и за нищету презирала. Зачастую, вдыхая в себя аромат жарившегося у них гуся или баранины, мне от раздражавшего мой аппетит запаха делалось дурно.

С марта 1920 года в жизни моей началось новое осложнение. В газетах промелькнула фамилия Главного командующего Вооруженными Силами Юга России генерала Врангеля (как я уже сказала выше, моего сына), дальше все чаще и чаще. Все стены домов оклеивались воззваниями и карикатурами на него. То призывали всех к единению против немецкого пса, лакея и наймита Антанты — врага Рабоче-Крестьянской Республики Врангеля, то изображали его в виде типа Союза Русского народа: облака, скалы, над ними носится старик с нависшими бровями, одутловатыми щеками, сизым носом, одетый в мундир с густыми эполетами, внизу подпись: «Белогвардейский демон» и поэма:

Печальный Врангель, дух изгнания
Витал над Крымскою землей и т. д.

Были и поострее, но для чистоплотной печати не годятся. В ушах имя Врангеля жужжало тогда повсюду, на улице, в трамваях (и разве не чудо, что я уцелела?). Каждую ночь я меняла мой ночлег, находила прият то у одних, то у других. Мои доброжелатели заволновались, кто предлагал мне переменить паспорт, кто переехать в окрестности, одна организация предложила мне из каких-то сумм Колчака меня ежемесячно субсидировать, чтобы я оставила службу; два других больших учреждения в память второго покойного моего сына (историка и критика искусства) также предложили свою помощь. Но в инвалиды записываться не хотелось, да и служба была моя единственная отрада, в ней я находила забвение от всех ужасов жизни. От денег я с признательностью отка-

залась, а воспользовалась предложением устроить меня в общежитие в окрестностях Петрограда, подальше от властей. «С глаз долой, из сердца вон», — как, смеясь, говорили мне мои друзья.

Прописали меня там: вдова Веронелли, художница. На службу надобно было ездить ежедневно чуть свет. Но что бы мне ни предстояло, я бы все приняла, лишь бы мне избавиться от моих городских мучителей, да ведь и горничная отлично знала, кто я, и каждую минуту могла меня предать. А разве не счастье было избавиться от их глумлений и унижений? Помню один из таких случаев. От отсутствия топлива зимой лопнули водопроводные трубы, мы должны были сами себе добывать воду, из соседнего дома тащить в третий этаж по грязной, примерзшей, скользкой лестнице. Красноармеец принес для горничной, еврей для еврейки, мне принести было некому. Попробовала было вежливо попросить один кувшин у еврейки. Завизжала, руками замахала: «Вода моя, моя». Нечего делать, взяла свое ведро, отправилась по воду. Изнемогая, обливаясь потом, несмотря на мороз, с трудом удерживая невольно струившиеся по щекам слезы, я приплелась с моим ведром в кухню, где сидела вся компания. Увидя мой жалкий вид, они покатались со смеху, а девица задорно мне крикнула: «Что, бывшая барынька, тяжеленько? Ничего, потрудитесь, много на нашей шее-то понаездили!» Чтобы не доставить им еще большую радость увидеть меня разрыдавшейся, я безмолвно с моим ведром пошла к себе, стараясь не слушать несшиеся мне вслед остроты.

И вот теперь мне предстояла радость уйти от этих зверей. Поселившись в общежитии, я сразу почувствовала себя в раю; положим, рай своеобразный: я помещалась в «четвертушке» — это четвертая часть комнаты, как в пьесе Горького «На дне», отделенная ситцевыми занавесками. В каждой четвертушке стояла железная кровать с соломенным блином вместе тюфяка, шкаф, два стула, умывальник на ножках и ведро. Две обитательницы на своей стороне имели окна, две — двери, мне досталась без окна. Две жилицы были милые образованные девушки, а моя соседка — голова в голову — истеричная старая дева, учительница. В былое время она частенько забегала ко мне, ходила передо мной на задних лапках, а теперь если я впотьмах уроню ложку или близко к ее зана-

веске подвину стул, кричала на меня, как на собаку. «Ишь обнаглела, как Крымская Ханша, Крым-то пока не ваш», и т. д. Но, по счастью, тут, в общежитии, были целые десятки приятных, образованных, душевных людей, как бы тени прошлого, чудом уцелевшие. Все очень известные фамилии, но, зная, что коммунисты распоясались, то, чтобы не подвести тех лиц, от наименований воздержусь. Кроме них были сестры милосердия, разные служащие «поневоле», одним словом, какой-то оазис в дьявольской совдепской пустыне. Но мы жили настороже, с опаской. Ежедневно, чуть свет, во всякую непогоду я тащилась к трамваю на службу. Все чаще и чаще трамваи опаздывали или среди дороги, за отсутствием электрической тяги, останавливались, и приходилось шлепать пешком. Все чаще и чаще стали поговаривать, что нам грозит быть выброшенными, комиссары уже посетили нас и собираются здание реквизирировать для дома отдыха рабочим. Боже! Неужели еще скитаться?

Мы жили, не зная, что ждет нас завтра. По счастью, на меня напало равнодушье, а не отчаяние. Буду ли заточена в тюрьму, или умру с голода, не все ли равно? Я уже ничего не ждала, плыла по течению и тупо доживала.

И вдруг... в конце октября 1920 года, однажды, когда я уходила со службы, швейцар мне сказал: вас спрашивают. Смотрю, незнакомая девица — финка. Она просила меня выйти с ней на улицу, так как должна со мной говорить по очень важному делу. Мы вышли. Она сунула мне клочок бумаги, со знакомым характерным почерком моей самой близкой приятельницы, жившей со дня революции в Финляндии. Она писала: «Ваш муж жив. Буду счастлива видеть вас у себя, умоляю, воспользуйтесь случаем, доверьтесь подателю записки вполне. О подробностях не беспокойтесь, все устроено». Побег организовать стоило тогда 1 миллион советских денег, на финские марки 10 тысяч. На мой вопрос: когда ехать? куда? — девица мне сказала: завтра, без всякого багажа, оденьтесь потеплее, поедете по морю часа 3 1/2 — 4 на рыбацкой парусной лодке. Все устроено, ни о чем не заботьтесь, — дала адрес, где встретиться. Я выхожу, как дальше жить, не видела; как ни труден мне казался путь, — я согласилась. По ночам были уже морозы, залив покрылся уже салом, это оставался последний случай до перепутка...